

МАКСИМ КАБИР

ПОРЧА

Москва
Издательство АСТ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
К12

Серийное оформление: *Юлия Межова*

Кабир, Максим Ахмадович
К12 Порча: [роман] / Максим Кабир.— Москва: Издательство АСТ, 2022.— 378, [2] с.— (HorrorZone).

ISBN 978-5-17-147175-0

Новая леденящая кровь история от Максима Кабира, лауреата премий «Мастера ужасов» и «Рукопись года», автора романов «Скелеты» и «Мухи»!

Добро пожаловать в провинциальный городок Московской области, где отродясь не происходило ничего примечательного.

Добро пожаловать в обычную среднюю школу, построенную в шестидесятые — слишком недавно, чтобы скрывать какие-то мрачные тайны...

Добро пожаловать в мир обычных людей: школьников, педагогов. В мир, где после банальной протечки водопровода на бетонной стене проявляется Нечестивый Лик с голодными глазами.

Добро пожаловать в кровавый кошмар.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
ISBN 978-5-17-147175-0

© Максим Кабир, текст, 2022
© Алексей Провоторов, обложка, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022

КОСТРОВ (1)

Двадцатого августа на стене в западной части подвала появился Нечестивый Лик. Двое мужчин прошли по длинному, озаренному гирляндой лампочек, коридору, свернули, позвенев ключами, открыли железную дверь, выкрашенную в желтый канареечный цвет. Наблюдая за манипуляциями тщедушного мужичка в спецовке, Костров размышлял о том, какой дурак выбирал краску. Ею же были превращены в желтые идиотские гармошки батареи центрального отопления.

Мужичок — Игнатъич — споро сбежал в попахивающий плесенью мрак, щелкнул выключателями. Эффекта пришлось подождать. Словно исподволь, зажглась заточенная в решетку лампа. Обрызгала светом цементный пол. За девять лет на должности Костров ни разу не бывал в подвале и, судя по всему, мало что потерял. Душный унылый бункер...

Он спустился по лестнице, фыркая. Великан Тиль выступил из темноты. Макушкой Тиль практически упирался в потолок. Пошел за Костровым следом.

Под вверенной Кострову территорией обнаружилось убегающее на десятки метров пространство, словно фундамент из спрессованной тьмы, которую не способна была разогнать одинокая лампа. Трубы в потрепанной изоляции, морок, вдруг напомнивший сорокапятилетнему Кострову, что в детстве он плакал, если мама гасила ночник. Источником глупых иррациональных страхов был гардероб, и так кстати сбоку от

мужчин оказался невесть откуда взявшийся шкаф. Приземистый, с резной дверцей, в чешуйках отслоившейся синей краски.

Костров покосился на рухлядь. Тиль глухо чертыхнулся, поймав темечком паучи тенета.

Сутулая спина Игнатъича маячила впереди.

Основная часть подвала находилась по правую руку: коленчатые трубы поделили ее на туннели. Слева валялся хлам, сносимый сюда годами: отслужившие свой век парты с нацарапанными именами давно повзрослевших школьников, размокшие картонные коробки, хромой стул.

Прижав к туловищу локти, чтобы не запачкать пиджак, Костров шел оловянным солдатиком за Игнатъичем.

— Да чтоб тебя! — Тиль протаранил очередную паутину.

— Тута вот, — булькнул Игнатъич. Прокуренные легкие сипели.

Он подвинулся, позволяя начальнику рассмотреть. А смотреть было на что.

Давший течь кран в женском туалете целую ночь цедил мимо раковины воду. Затопило западное крыло, с первого этажа просочилось в оба подвала: в верхний, переделанный под вотчину Тили, и во второй, самый нижний. Завхоз сетовала на вздувшуюся побелку. А здесь-то и вздуться было нечему: голый бетон, известь в щелях.

И лицо на стене. От потолка до пола.

— Нечестивый Лик, — торжественно прокомментировал Игнатъич.

Не глядя на разнорабочего, загипнотизированный взором *лица*, Костров спросил:

— Какой Лик?

— Нечестивый. То бишь гнилостный.

Костров поскоблил ногтями гладко выбритый подбородок. Поймал себя на том, что задирает верхнюю губу. Высоко задирает, демонстрируя резцы и десны. Он сомкнул было, а потом облизал губы. Произнес хмурясь:

— И где ты слов таких нахватался?

— Дык Тамара сказала. Как увидала его. Нечестивый, грит. Скверна, грит.

— А что ж Тамаре Павловне на посту не сидится? Чего это она по подвалам шастает?

— Я виноват,— потупился Игнатъич,— сам ее привел чудо-юдо показать.

Веко Кострова дернулось. За глазами яблоками запекло. Жар нарастал. Померещилось, что если он не зажмурится, глаза вспыхнут ясным пламенем и сгорят.

— Никакое это не чудо-юдо,— мрачно изрек Тиль.— Потеки на стене, херь собачья.

Жар отступил, будто словами Тиль прикрутил газ на печи. В помещении даже стало как-то светлее, а рисунок потерял симметрию и четкость.

— Вот-вот,— живо согласился Костров и зашагал обратно к лестнице.— Люди дело говорят, херь. Ты б, мил человек, занялся чем-то, ручку вон в учительской подкрутил, вместо того чтоб меня от дел отрывать.

Экскурсия завершилась. Мужчины ушли из подземелья и прихлопнули тьму желтой дверью.

Нечестивый Лик остался в подвале.



ПАША (1)

— Может, сходишь, отрегулируешь? — сказала медсестра, прерывая поцелуй.

Они лежали в огромной ванне, предназначенной для купания пациентов, хорошенькая девушка и ее коллега. Вода бурлила, становясь невыносимо горячей.

— Но там же холодно, — закапризничал санитар.

— А здесь тоже может похолодать.

Намек понят. Санитар нехотя выбрался из воды — к кранам и термометрам за стеклянной перегородкой ночной больницы.

Медсестра утиралась полотенцем и не видела, как за ее спиной некто подкрался к мужчине, накинул на шею удавку. Санитар поник.

Медсестра вставляла в волосы заколки, она не подозревала, что убийца в маске, неутомимый, могучий, приближается... кладет ладонь на плечо.

— Ну хватит, Бад. Мне пора возвращаться. Позавтракаешь со мной утром?

Она игриво прикусила указательный палец того, кого принимала за Бада. Оглянулась...

Паша Самотин клацнул по пробелу, и персонажи застыли на экране компьютера. Симпатичная медсестра окоченела в лапище Майкла Майерса.

— Мам? — Самотин прислушался, но единственным звуком было мерное жужжание процессора.

Однако же кто-то окликал его...

Паша встал из-за стола. Полуденное солнце заливало светом бесчисленные корешки книг, фигурки супергероев, столпившиеся на полках, постеры с рок-группами. Последние августовские деньки даровали жару, и племянница бабы Тамары выходила во двор позагорать, подставляла лучам плоский живот, серебрилась пирсингом в пупке. Хотелось бы Паше заговорить, познакомиться с ней — все же соседи, общий штакетник... но девушка выглядела слишком круто и неприступно, а Паша был наглым плейбоем разве что в фантазиях.

— Мам? — повторил он, высовываясь в прихожую. В доме царила тишина.

Мама, полчаса назад возившаяся у плиты, куда-то испарилась.

«Глюки»,— резюмировал Паша, поворачиваясь. Взгляд мазнул по окну. Снаружи на него смотрело чудище с красно-черной мордой и короткими рогами.

Паша выругался.

Чудище хохотнуло, стаскивая маску Дарта Мола, являя плоское несуразное лицо, обрамленное жесткими вихрами. По-своему чудищное, зато родное.

— Руд! Приехал!

Паша ринулся к окну, распахнул створки. Руд — Нестор Руденко — ловко взобрался на подоконник и через мгновение жал Паше руку. За две недели друг загорел и похудел, веснушки изгваздали щеки, нос, приплюснутый после знакомства с кулаком Рязана.

— Накупался? Как море?

— Соленое, жидкое,— Руд говорил с фирменной ленцой, по которой Паша успел соскучиться. Вальжные манеры, непробиваемое спокойствие, были броней мальчишки, защищающей его сублимное тельце и

редкое имя от насмешек ровесников, от тычков. Броня, впрочем, срабатывала не всегда.

— Завел курортный роман?

— Менял баб как перчатки.

— Заливай.— Они дружили с пятого класса — пять лет — и все друг о друге знали. Руд, в отличие от Паши, даже не целовался с девушкой. Да и Пашины поцелуи нельзя было назвать полноценными — так, чмок за гаражами с теперь потолстевшей и подурневшей Ингой... два года назад...

— За санаторием был пляж...— Руд понизил голос.— Нудистский. Я маман говорю: мороженое куплю. А сам — туда по-бырому. Ох, какие там цыпочки, Самотин!

— Что, и без трусов?

— Без ничего! Выбритые, в масле...

— Кто в масле? — Дверь скрипнула, в комнату заглянула Пашина мама.

— Рижские шпроты,— глазом не моргнул Руд.— Драсьте, Лариса Сергеевна.

— Привет, Нестор. С возвращением. Математику подтянул?

— От зубов отскакивает.

— На следующей неделе проверю.

Мальчики синхронно скривились, вывалили языки.

— Вас накормить?

— Не, спасибо.

— Спасибо, мам.

Лариса Сергеевна затворила за собой.

— Ну вот зачем она напомнила? — поник Паша.

Лето пролетело, как и полагается лету — метеором, пульей. До конца каникул оставалось шесть дней. Здравствуй, школа, засиженные мухами парты, бесконечные уроки.

— Ого! — это Руд заметил обновку, рыжую куклу, сидящую на диване под постером Green Day. У куклы было злобное, иссеченное швами личико и пластиковый нож в кармашке джинсового комбинезона. — Чаки!

— Лимитированная серия, — гордо сказал Паша.

Руд тискал куклу-убийцу, та пищала: «Я славный парень! Славный парень с тесаком!»

— Офигеть! На русском говорит! Где взял?

— Батя заходил.

— О... — Руд кивнул понимающе. — Общался с ним?

— Ну так... парой слов перебросились.

— А с негрityночкой как?

Негрityночка — это племянница бабы Тамары, приезжающая откуда-то из Пскова. Чернокожей она не была, прозвище мальчишки дали ей из-за загара. Хотя теперь Руд был загорелее.

— В процессе, — преувеличил Паша.

— Ну ясно. Порнушку смотришь? — Руд ринулся к столу, шлепнул по клавиатуре. Майерс растормозился и ткнул медсестру в кипящую ванну.

— Сиквел «Хеллоуина».

— Сиквелы — отстой. — Руд с Чаки в обнимку плюхнулся на диван.

— А «Крестный отец»? Вторая часть лучше.

— Не видел.

— «Лепрекон»...

— Это — да. Уорвик Дэвис... А я по дороге к тебе встретил нашего лепрекона.

— Курлыка?

— А кого же!

Погоняло Курлык намертво приклеилось к тишайшему Ване Курловичу. Ваню Паша всегда жалел и звал при случае в гости или на футбол. Мамка Вани закладывала за воротник, однажды Паша видел ее, в

нижнем белье разгуливающую по улицам. Курлык жил у деда, который работал в школе слесарем и электриком в одном лице. Дед, Игнатъич, тоже пил.

Курловичу пришлось несладко. Горшинские гопники мутузили его чаще прочих.

— Курлык сказал, школу затопило. Вроде канашку прорвало.

— Кто-нибудь утонул?

— Ага. Костров. В дерьме.

Они смеялись, а ветер проникал в форточку, принося запахи полыни, гудрона, умирающего лета.

— Ты не поверишь,— сказал Руд,— но я хочу в школу.

— Перегрелся?

— Не, серьезно. Всех мудаков отправили в ПТУ. Ни Рязана больше, ни Желудя. На класс — пятнадцать калек, из них девять — девчонки. Вон даже Ахметова, старая «бэ», на пенсию ушла.

— А кто вместо нее литературу будет вести?

— Новенькая какая-то. Короче, братан, заживем, как у бога за этим самым,— Руд прервался на полуслове, встрепенулся.— Ба! Дырявая башка! Я ж тебе сувенир принес!

— Невесту для Чаки?

— Почти.— Руд вынул из кармана курительную трубку. Вручил другу.

— С побережий Крыма. Чистый орех.

— На фига? Я же не курю.

— Баран! Ты — писатель. Все писатели курят трубку.

— Аллен Карр не курит.

— Я знаю только Джимми Карра. Кстати, как поживает Пардус?

Пардусом звали овчарку Паши, умершую в прошлом году — настоящая трагедия для и без того уменьшившейся семьи Самотиных. Но Руд имел в виду, конечно,

ПОРЧА

героя Пашиного рассказа, которому автор подарил имя любимца.

Руд был единственным, кто прочел рукопись,— искренне хвалил и затребовал писать продолжение.

— Ты ж не любишь сиквелы.

— А это не сиквел,— возразил друг,— это сериал. Второй эпизод.

— Уболтал.— Паша извлек из ящика тонкую стопку листов с распечатанным текстом.

— А секс там будет?

— Прочитай — узнаешь.

— Вот бы,— сказал Руд, надавливая на живот Чаки, заставляя его говорить,— вот бы новая училка была секс-бомбой.



МАРИНА (1)

Марина Крамер приходила сюда в третий раз, но никак не могла расшифровать, какие чувства рождает в ней эта школа. Смятение? Иррациональную ностальгию? Или вовсе не было никаких чувств, по крайней мере тех, что она себе насочиняла. Ничего, кроме понятного и обычного волнения вчерашней студентки, готовой приступить к обязанностям педагога.

Марина разочаровалась, увидев здание на холме впервые. Бурная фантазия рисовала подлатанный, стонущий на ветру особняк позапрошлого столетия, конюшни, переформатированные в спортзал, учительскую во флигеле.

Но школа оказалась самой обычной советской постройкой, довольно большой для города на семнадцать тысяч жителей. Двухэтажная, напоминающая вилку. Два зубца — крылья. Ухоженный газон внутреннего двора. Рядышком стадион, турники...

Костров, директор, импозантный мужчина с проседью в окладистой бороде и аккуратной прическе, долго жал руку, говорил, как им повезло, что Марину направили именно в Горшин.

«Сработаемся», — говорил он.

И все же обидно, что без флигеля и конюшен...

Вестибюль средней общеобразовательной школы номер один тонул в вечных сумерках. Фотографии

медалистов, российский флаг, герань в кадках. Вахтерша, Тамара Павловна, листала глянцевого журнала на посту. За ее спиной уходила вверх широкая лестница. По ступенькам спускалась стройная женщина средних лет. В строгой блузе и юбке-карандаше, с косой, заплетенной сложным бубликом.

— Крамер? Русслит?

— Прибыла в ваше распоряжение! — Марина по военному отдала честь и заулыбалась.

— Вольно.— Женщина приблизилась, водрузила на нос очки.— Я, как и вы, рядовая. Ольга Викторовна Кузнецова, учу оборотов истории отечественной и зарубежной.

— Очень приятно.

«На ее уроках дети сидят тише воды»,— оценила Марина.

Ольга Викторовна коснулась пальцем подбородка новенькой. Покивала.

— А вы — красотка. Бедные наши мальчики.

— Я... — Марина стушеввалась.

— Да не краснейте. У нас тут все учителя — красотки. Так что вы нам подходите.

— И мужчины? — сострила Марина.

— Мужчин у нас, дорогая моя, раз-два и обчелся. Костров, слесарь... а, и еще ИЗО. Но, между нами, девочками, там надо разбираться.

Марина засмеялась. Кузнецова ей понравилась. Если повезет — станет ее первой подругой здесь. Старшей подругой и наставницей...

— Костров вам школу показывал?

— Не успел.

— Так я и думала. Вечно в хлопотах. Идемте, проведу экскурсию.

Кузнецова взяла Марину под локоть.

— Школа, как видите, большая. Даже чересчур. Сегодня все в Москву уезжают, набор мизерный. Комбинат загибается, трудоустроиться сложно. В девяностые у меня было три девятых класса. Три! А сейчас — один!

— Вы так давно здесь работаете.

— Страшно сказать — двадцать восемь лет. Как вы, после института, необстрелянной девчонкой пришла. Ничего, обстреляли. И мама моя, царствие небесное, здесь до шестидесяти семи здоровье гробыла. У нас это наследственное.

Марина зацепилась мысленно за маму Ольги Викторовны. Попыталась подсчитать, но математика давалась со скрежетом. Гуманитарий, она и таблицу умножения вымела из памяти, освобождая пространство для поэзии Серебряного века.

— Спортзал.— Кузнецова отворила дверь в огромное помещение: добрых шесть метров до потолка, окна во всю стену.— Маты весной закупили, мячи. Спонсор у нас — Тухватуллин, директор мебельной фабрики. Костров на него чуть ли не молится. Вы в сентябре познакомитесь с его сыном, седьмой класс. И если у вас с ним не будет трудностей, я съем килограмм мела.

Марина вспомнила практику, проблемного подростка, с которым, пройдя через трения и скандалы, они стали добрыми приятелями — до сих пор при случае переписываются в социальных сетях.

— Библиотека,— сказала Кузнецова у запертой стеклянной двери.— По совместительству краеведческий музей. Ну это вы отдельно исследуете, когда выйдет Люба Кострова, библиотекарь. Там, вы знаете, директорская. Актальный зал, над ним — столовая, действительно неплохая. Только не заказывайте гороховый суп — дрянь.

Они перешли в восточное крыло. Слева тянулись кабинеты. Информатика, химия, физика.

— Вашу предшественницу, Ахметову, дети недолюбливали. Признаться, подавала она материал скучно, суконно. Уж до чего мне нравится Лермонтов, а на ее открытом уроке — уснула.

— Я постараюсь вас не усыпить,— живо отозвалась Марина. Хотелось верить, что она умеет захватить аудиторию, внушить собственную зачарованность классиками, преподавать с неожиданной стороны...

— Педагоги у нас — штучный товар, все в одном экземпляре. Коллектив крохотный. Двадцать пять человек — считая уборщицу и поварих.

— А если кто заболит?

— Болеть не нужно.

Они уперлись в тупик — в мужской туалет — и пошли обратно, через вестибюль с сонной вахтершей — в западное крыло, зеркальное отражение восточного.

— Не хочу вас пугать,— сказала Ольга Викторовна,— но школа держится на соплях. Слухи, что нас расформируют, циркулируют с нулевых. Часть кабинетов пустует. Постоянный недобор. В восьмом году на юге возвели микрорайон, Стекляшку.

Марина кивнула, вспомнив кружок высоток за автовокзалом.

— При микрорайоне построили школу. Компьютеры — не чета нашим ящикам. Пластик. Все с иголочки. Мальшей отдали им. И родители, конечно, предпочитают сдавать детей в новую школу. Там углубленный английский, индивидуальный подход. Это мы — законстелые. Когда педагог болеет, ученики бегут заниматься в Стекляшку. Костров договорился о смежных уроках. Он вообще молодец.

Женский туалет в конце крыла был закрыт на ремонт.

— Позавчера кран прохудился. Крыло плавало — воды по щиколотку. Затопило кабинет труда и подсобку внизу.

Снаружи щебетали птицы. Окна в разошедшихся рамах... отклеившийся плинтус.

«Да уж,— подумала Марина,— не первый сорт».

Мысль все же вышла ласковой — так умиляются старому псу.

На лестнице Кузнецова спросила:

— Вы из Владимира, верно?

— Из Владимирской области. Город Судогда. Во Владимире я закончила университет.

— Значит, вам не привыкать к захолустью.

— Мне есть чем себя занять. К тому же, мои предки отсюда.

— Правда? — Ольга Викторовна вскинула тонкую бровь.

— Прабабушка жила в Горшине в начале века. Потом уехала в Санкт-Петербург.

Ольга Викторовна окинула спутницу уважительным взглядом.

— Сегодняшняя молодежь корнями не интересуется совсем.

— Бабуля была помешана на составлении семейного древа.

— Стало быть, вы специально выбрали именно нас?

— Не совсем. Но я увидела название поселка среди вариантов и тут же согласилась.

«Вот сейчас,— шепнул внутренний голос,— пока не перевели разговор».

Марина прочистила горло.

— Ольга Викторовна, а школа старая?

— Как посмотреть.

Они шли по пустому коридору между окнами и запертыми дверями. Попискивал паркет.

— Горшинской школе весной исполнилось сто лет. Но от прежнего здания сохранились лишь фундамент и теплица. В свою очередь, то кирпичное здание было

еще старше — до революции оно принадлежало Стоп-фольдам, местной аристократии. Как вы знаете, Советы с аристократией не нянчились.

Перед взором Марины проявилась фотография, бережно хранящаяся в семейном архиве: особняк на холме, выпуклые угловые ризалиты, черепичная крыша, треугольный фронто́н, купола круглых башенок. У крыльца — усатый молодой франт опирается на трость, свободной рукой касается полей шляпы...

— Ваша мама застала прежнюю школу?

— Скажу больше: она ее сносила. Помогала строителям с комсомольским отрядом. И первый свой урок провела в новеньком здании.

— В шестьдесят...

— Шестьдесят втором. Мама собирала материалы по истории Горшина. Я передала их в библиотеку. Если интересно, обратитесь к Любе.

Они дошли до середины западного крыла, и Ольга Викторовна объявила:

— Приготовьтесь. Ваше королевство.

Королевство пережило нашествие варваров. Ободранные стены, шкаф, словно выbleвавший на пол папки. Класная доска прислонена к ржавым батареям. Марина заподозрила грешным делом, что помещение нарочно привели в такое состояние, чтобы испытать новенькую.

— Знаю, авгиевы конюшни. Но завуч заграбастала себе бывший кабинет Ахметовой, а вам ссудили давно заброшенный. Зато мы с вами соседи, будем пить кофе на большой перемене.

— Я не боюсь грязи,— заверила Марина, прикидывая, что у нее в запасе неделя на уборку. Можно управиться при желании.

— Костров командирует вам парочку старшеклассников,— Ольга Викторовна чихнула, разогнала рукой пыль,— обживайтесь, дорогая.



КОСТРОВ (2)

После стольких лет брака Костров не разучился удивляться: за какие заслуги ему достался такой клад? Сокровище номер раз шинковало на кухне овощи. Сокровище номер два, уменьшенная копия первого, то ли уроки зубрило, то ли притворялось, посматривая каналы малолетних блогеров.

Директор школы подкрался к жене, окольцевал талию, ткнулся губами в душистые волосы. Люба была по-девичьи тоненькой, щемяще-хрупкой. Костров часто вспоминал, как сходил с ума от переживаний, когда она рожала дочь. Шесть часов ада. И курносый ангелочек в финале.

— Как пахнет хорошо...

— Врун. Нечему пахнуть, я только воду поставила.

— Ты — пахнешь.

Люба потерлась о его грудь.

— Меня есть нельзя, подожди плов.

— Жалко, что ли. Маленький кусочек.

Костров защелкал челюстью. Люба сунула ему в зубы морковную соломку. Он прожевал.

— Что нового? — спросила она, направляясь к печи.

— Новая учительница литературы. Крамер Марина... отчество сложное.

— Хорошенькая? — Люба подозрительно прищурилась.

- Я не педофил.
- А она несовершеннолетняя?
- Двадцать четыре года. Малявка.
- Мне было двадцать три, когда я пришла в школу.

И чем все закончилось?

- Виновен. Был чересчур горяч.

Он хлопнул жену по упругой заднице, драпированной джинсами.

- Библиотекари — мой фетиш со школьной скамьи.
- Кобелина.

— Кто такой кобелина? — спросила Настя, вбегая на кухню, обхватывая отца так же, как минуту назад он обхватывал Любу.

Родители перемигнулись, прикусили улыбки.

— Кобелина — это итальянская фамилия, — сказал Костров, — Рикардо Кобелина, оперный певец.

— Опера — фу, — поморщилась Настя. Достала из холодильника упаковку яблочного сока.

Костров ловко выхватил сок у дочери и поменял на такой же тетрапак, взятый со стола.

- Гланды береги. Первое сентября на носу.
- Фу, теплый!
- Прекращай фукать, фуколка.
- Я не фуколка.
- А кто же?
- Куколка!
- А по-моему, ты — курочка, которую надо съесть.

Он поймал дочь, поднял к потолку и притворился, что кусает ей живот.

- Не курочка! Не курочка! — верещала Настя.
- Мать, открывай духовку, пока я ее держу!
- У нашего папы каннибальские замашки, — прокомментировала Люба.

Настя вырвалась, заливисто смеясь, побежала в комнату.

Костров пригубил ледяной сок из пакета.

— Стаканы для чего, дикарь?

— Так вкуснее.

Люба поставила на плиту казанок, налила масло.

— И где ты разместил эту нимфетку?

— Нимфетку? — засмеялся Костров. Он обожал чувство юмора жены. Юмором и изумрудами глаз покорила его Любочка Окунькова тринадцать лет назад. Как время летит... — Настя сегодня узнает много новых слов. А разместил я Марину Батьковну по соседству с Кузнецовой.

Люба охнула.

— В том свинарнике?

— Да прямо — свинарник!

— Прямо свинарник. И гадючник.

— А пускай молодые кадры привыкают к трудностям.

— Тогда уж посадил бы ее в подвал.

Ухмылка застыла на губах Кострова. Он вспомнил полумрак за желтой дверью, цементный пол, прихотливый рисунок... Вспомнил, как запекло в голове, пока он изучал стену. Как колыхнулось внутри что-то смутное, вязкое...

— А ты... — он поскоблил ногтем картон упаковки, — спускалась в школьный подвал?

Люба сбрасывала в масло колечки лука.

— Не спускалась. А что там?

«Лицо», — подумал Костров отстраненно.

— Ничего. Паутина и мыши.

— Мыши? Держи их подальше от моих книг.

Костров открыл было рот, но Настя крикнула из комнаты:

ПОРЧА

— Мам, пап! Вы обманщики. Я погуглила. Кобелина — это бабник, ловелас, ходок.

Костров согнулся пополам от хохота. Сжал тетрапак так, что сок брызнул из откупоренного горлышка и залил холодильник.

— Аккуратнее,— вытирая слезы смеха, сказала Люба.

Костров, довольно похрюкивая, потянулся за тряпкой.

Смех стал мотком колючей проволоки в гортани. Верхняя губа директора оттопырилась, оголяя десны — не будь Люба увлечена сейчас луком, она бы сказала, что прежде не замечала за супругом таких гримас.

Бурые струйки стекали по холодильнику, образуя знакомый узор.

Лицо.

Нечестивый Лик.



ПАРДУС

Рассвет ознаменовался барабанным боем. Гулкие удары разбудили жителей поселка. Они вскакивали с травяных циновок, перешептываясь, вслушиваясь, понимая то, чего не понимал чужестранец. Звук подхватывался, уносясь за пределы домишек, скучившихся у скал; просачивался в джунгли. Испуганные птицы спархивали с ветвей, голосили обезьяны. Огромные барабаны повторяли гласные и согласные, извещая о смерти вождя.

Молодой человек, явно не из этих краев, облачился в набедренную повязку и сандалии из бычьей кожи, повязал пояс, на котором висел короткий меч. Взор светло-карих, почти желтых глаз изучал входную дверь. Снаружи раздались шаги и приглушенные голоса. Пальцы пришлеца коснулись рукояти, искусно вырезанной из слоновой кости.

Дверь распахнулась, и на пороге возникло полдюжины воинов. Ассегаи, нацеленные на гостя, не предвещали ничего хорошего, как и хмурые лица. Чужак убрал руку с оружия и кротко улыбнулся.

— Выйдите! — потребовал один из брухаров. Молодой человек повиновался.

Солнце всходило над поселком кучерявых и коренастых людей. Ухмылялись маски, насаженные на колья забора. Ветерок трепал ленты, которыми был оплетен

ритуальный столб, возвышавшийся в центре площади. Туда стекались жители. Чужак, высокий, гораздо выше любого здесь, видел поверх голов тело, лежащее у дома собраний. Грузный старик уставился в небо остекленевшими глазами. Чужак обернулся, и воины заворчали, кто-то толкнул в спину.

«Нужно было обойти стороной проклятую деревню», — мрачно подумал чужак.

Из дома собраний тем временем вышли двое, коротышка в пестрых одеждах и удивительной красоты женщина. Взор чужака скользнул по пышной груди, едва прикрытой легкой тканью, по эбонитовым бедрам и изящным щиколоткам. Чужак явился из глубины Черного континента, он вторую неделю пересекал страну Зубчатых гор, но не встречал столь красивых брухарок.

— Приветствую вас, — сказала женщина, властным жестом успокаивая толпу. Она говорила на большом языке, понятном пришлецу. — Сегодня ночью случилось ужасное. Ваш вождь и мой муж погиб. Враг заколол его, подло подкравшись сзади.

— Кто? Кто? — загомонил толпа.

— Ответ дадут кости.

Красавица отступила на шаг.

Коротышка — колдун — вынул из подсумка горсть отполированных костей. Забубнил неразборчиво. Брухары умолкли, лоя каждое движение. Колдун приплясывал, обходил по кругу убитого вождя, возносил молитвы богам. Чужак поерзал, ему наскучило представление. В родном городе — и еще больше за время странствий — он насмотрелся на всяческих заклинателей змей, повелителей дождя, факиров, глотающих огонь, и прочих шарлатанов. Не то чтобы он не верил в магию, напротив, но настоящие колдуны попадались редко в этих иссушенных солнцем краях.

Прерывая раздумья гостя, коротышка высыпал косточки на песок и преклонил перед ними колени, сосредоточился, точно читал письмена. Хитрое лицо просветлело, осененный коротышка вскочил. Чужак понял все прежде, чем слова сорвались с уст, взбудоражив толпу:

— Кости сказали мне, что вчера на закате в наш поселок забрел чужестранец.

— Так и есть! — воскликнул кто-то. Головы завертелись, взгляды уцепились за статную фигуру гостя. Ни единый мускул не дрогнул на его обветренном лице. Он смотрел открыто и приветливо, а люди, включая старуху, впустившую его в дом, и старика, угостившего лепешками, попятились.

— Кости сказали, что он убил вождя подлым ударом своего меча.

Воин со шрамом на щеке хлопнул дровком асегая по ребрам чужака, руки дернули за пояс, сорвали ножны, обезоружили. Подозреваемый не сопротивлялся.

Копьеносцы напирали с боков, а толпа расступилась, пропуская жену покойного вождя. Она приблизилась, грациозная и опасная. В чем в чем, а в опасностях чужак, отметивший двадцать третий день рождения, разбирался. Полные губы вдовы изогнула гримаса презрения. Темные и жестокие глаза ощупали плоский живот и грудные мышцы мужчины, покатые плечи, шрамы, зафиксировались на обвивающем шею шнурке.

— Как твое имя? — спросила она.

Чужак кашлянул и сказал миролюбиво:

— Пардус. А твое?

Толпа зароптала. Женщина улыбнулась холодно, глаза ее сверкнули.

— Элима. Жена Прунна, убиенного тобой.

— Это ложь, Элима.

— Кости не врут,— воскликнул колдун, притоптывающий рядом, и ткнул в Пардуса пальцем,— не врут, мерзавец!

— Откуда ты? — мягко спросила Элима.

— С юга. Из страны мбоке, из города, именуемого Тельхин.

Элима изучала прямые и жесткие волосы чужака, тонкие черты лица, присущие скорее белому человеку, чем жителю Юга. Висящий на шнурке камень, рубин размером с голубиное яйцо, отразился в зрачках женщины.

— Ты не похож на мбоке,— задумчиво сказала Элима.

— А ты не похожа на скорбящую вдову,— парировал Пардус.

Колдун замахнулся:

— Да как ты!..

— Постой,— усмирила его Элима.— Как зовут твоего отца, мбоке Пардус?

— Я не помню его имени,— небрежно проговорил чужак.

Брухары охнули. А Элима, скрестив руки под впечатляющей грудью, заключила:

— Мбоке Пардус, забывший имя отца. Ты пришел в наш поселок, ел нашу пищу и пил наше вино. В благодарность за оказанное гостеприимство ты убил нашего вождя. Тебе нет прощения. Уведите его, а мы подумаем, как наказать злодея.

Последняя фраза адресовалась страже. Асегай кольнул в ребра. Брухары повели Пардуса через поселок, к бамбуковой клети, стоявшей на окраине. Чумазые детишки наблюдали за процессией, теснясь к хижинам. Завидев пятна свернувшейся крови на прутьях, Пардус хмыкнул. Не такими милыми оказались жители Зубчатых гор, как он представлял.

Клеть была просторной. Пардус уселся поудобнее и стал ждать. Ждать пришлось долго. Солнце палило, жгло макушку. Стража не реагировала на просьбы утолить жажду. Далеко за полдень его навестила Элима. Принесла воду. Он жадно опустошил кувшин, вытер рот и долго смотрел на вдову сквозь прутья.

— А ты та еще змея, не так ли?

— Побереги язык,— предупредила Элима и покосилась в сторону. Стража отдыхала поодаль, их никто не слышал, и женщина словно сбросила маску.

— Ты говоришь с будущим вождем племени.

— Не сомневаюсь,— улыбнулся Пардус.— Странно, что ты заколола старика лишь теперь. Неужели в поселке так редко появляются чужестранцы, которых можно обвинить в собственных преступлениях?

— Не твоего ума дело, безродный пес.

Элима прищурилась. Она не сводила глаз с рубина; Пардус — с ее бюста.

— Скажи лучше, откуда у бродяги этот камень? Украд, зарезав еще одного невинного человека?

Пардус накрыл ладонью рубин.

— Наследство. Все, что осталось от матери.

— Надеюсь, ты не будешь против, если я заберу его.

— О, боюсь, что буду.

— Трупы ни к чему побрякушки. И богенге они безразличны.

— Богенге?

Мышцы Пардуса напряглись.

— Тебе они знакомы? — усмехнулась Элима.

— Люди-леопарды,— сказал Пардус.

Он вспомнил все, что слышал о богенге, байки, пересказываемые шепотом у костра, щекочущие нервы. Племя, не строящее домов, не охотящееся на зверей, не удыщее рыбу, не возделывающее поля. Тайный клан,

жестокие убийцы и каннибалы, поклоняющиеся чудовищному богу Зиверу. Говорили, что при посвящении в богенге ученик обязан убить своих родителей и съесть их плоть. Говорили, что у них нет теней, и лучше столкнуться на лесной тропе с настоящим леопардом, чем с богенге.

— Верно, умник,— подтвердила Элима.— Мой народ добр и не желает проливать кровь даже после того, что ты сделал. Мы отдадим тебя богенге. И пусть боги смочат твои губы в пустыне за мирами.

— Рад был встрече, красавица,— сказал Пардус в спину удаляющейся вдове.

Не впервые Пардуса из Тельхина обвиняли в том, чего он не совершал. Разморенный жарой, он задремал и увидел кошмар: растерзанное тело на мраморных плитах дворца, тело своей матери. И себя, стнающего над убитой, и отчима, вбегающего в покои со взводом лучников.

Его скормили бы шакалам, но сводная сестра усыпила конвоиров бульоном из сон-травы, помогла покинуть Тельхин. У высоких стен столицы они занялись любовью и попрощались навсегда. Пардус, принц мбоке, ушел на север, чтобы найти истинного убийцу королевы. Чтобы найти своего отца.

Смеркалось, когда пленника разбудила стража. Сорвала с шеи камень — он почувствовал, как внутри шевельнулся зверь, но ничего не предпринял. Рано.

Барабаны скорбели о смерти вождя, а колдун брухаров отправился к скалам и дул в витой рог, пока из гущающихся сумерек ему не ответили.

Стража сопровождала Пардуса к узкому ущелью, в котором не разминутись бы два человека. Словно бог-кузнец Ярхо проверял остроту лезвия и рубанул по скале клинком, рассек ее надвое.

Ассегаи заставили шагнуть в проем.

— А вы — приятные парни,— сказал Пардус и пошел по ущелью. Иногда приходилось перелезать через валуны, иногда — продирались ползком. Стены то соединялись, то размыкались. Меж скал мерцала полная луна, освещала дорогу. Хороший знак. Мать говорила, что предки Пардуса спустились с луны. Что там у них хоромы, изготовленные из сияющего лунного гранита.

Впереди чернела чащоба.

Он вынырнул из ущелья. Переплетенные ветви преграждали путь. Лес шумел угрожающе, а за стволами юркали тени.

Никто в здравом уме не стал бы оказывать сопротивление людям-леопардам. Лучше погибнуть от их рук, чем прогневать Зивера, покровителя богенге. Неприкасаемые, сыны Зивера блуждали по саваннам, изредка забредая в города. Забирали детей. Матери плакали, заламывая руки, и ничего не могли поделать.

Безоружный человек вглядывался в темноту и видел, как отслаиваются от нее три фигуры, как плывут, словно призраки.

«Они не призраки! — отрезал Пардус.— У них есть зубы, значит, есть и плоть!»

Богенге, храня молчание, крались с трех сторон. Он уже различал пятнистые от татуировок тела, накидки из шкур леопардов. В темноте проступали уродливые деревянные маски, круглые глазница, выпяченные пасти. На кулаки убийц были насажены кастеты, так что между пальцев торчали кривые ножи, имитирующие когти хищной кошки.

Пардус прижался к скале. Загнанный в угол, он сбросил с себя набедренную повязку и наготой встречал каннибалов. Пардус улыбался. А в груди распрямлялся зверь. Как рука входит в перчатку, так зверь, вырастая,

заполнял Пардуса, присваивал его конечности, его разум, подчинял мышцы.

Богенге застыли, переглянулись.

Что-то было не так с их жертвой. Привыкшие с легкостью забирать причитающееся, они тарасились сквозь прорези в масках на свой обед, а обед менялся.

Пардус упал на четвереньки, его голова скукоживалась, разъединившиеся пластины черепа терлись друг о друга, уменьшался мозг. Растопыренные пальцы вытягивались, кости выворачивались наизнанку. Внизу хребта пульсировало, выпирало сквозь обрастающую шерстью кожу. От позвоночника отпочковался хвост. Все это чудесное превращение заняло секунды. Миг, и на месте человека — готовый к прыжку зверь.

Желтые кошачьи глаза блеснули, и язык облизал клыки.

Пардус хотел жрать.

Один из богенге рухнул на колени. Запричитал. Пардус прыгнул, лапа сорвала маску. Лицо под ней было выкрашено кровью. Пардус добавил еще красного, вспоров глотку каннибалу, порвав трахею. Труп повалился в листву.

Прыжок. Когти впились в спину улепетывающему богенге. Располосовали до желтого жира. Клыки погрузились в загривок. Сколько лун принц не перевоплощался? Десять? Двенадцать? Он был голоден. Он утолял жажду.

Прыжок. Стальной кастет пырнул в бок, но зверь уклонился, походя скальпировав врага. Клыки вскрыли податливое брюхо, в пасть хлынуло горячее. Богенге кричал и дергался на моховой подушке, потом обмяк, и джунгли почтительно стихли.

Луна озарила кровавую сцену. Три трупа и пирующего леопарда. Самый опасный хищник джунглей,

Пардус, сын лунного людоеда, трапезничал. Кровь была необходима, чтобы вернуть человеческое обличье.

Звезда Гиены взошла на небосводе, а окровавленный и сытый молодой Пардус выпрямился, хрустя суставами. Между зубов застряли волокна кожи, желудок был набит мясом. Миновала вечность с тех пор, как он перестал ужасаться последствиям обращения. Стесняться своей сути.

Мать и сводная сестра были единственными, кто знали его тайну и не отшатнулись в ужасе. А теперь одна мертва, а другая потеряна навсегда.

— Извините, что съел вас,— сказал Пардус поверженным богенге и вошел обратно в ущелье.

Камень был не просто подарком матери. В нем заключалась сила, оберегающая от нежелательного превращения. Камень подавлял зверя и загонял в темные уголки души.

Дежурившие под сенью эуфорбии стражи возделали ассегаи, но, заметив шкуру леопарда, свисающую с плеч, и клыкастую маску, кинулись бежать.

Пардус зашагал по поселку. К дому с островерхой крышей, выделяющемуся среди хижин.

Стражники скорчились в пыли, ужас перед богенге парализовал их. Колдун закрыл голову руками и хныкал бессильно. Не одарив его вниманием, Пардус вошел в дом вождя.

Обнаженная Элима возлегала на львиных шкурах. Взор Пардуса алчно ощупал чуть раздвинутые ноги и треугольник курчавых волос, шоколадные соски и рубин в ложбинке.

— Просыпайся, вдова.

Элима распахнула глаза, изумленно вскрикнула. Качнулись грушевидной формы груди. Коротким тычком Пардус заставил ее вновь лечь. Уселся рядом, откровенно любуясь наготой.

— Ты, ты...

Она заикалась.

— Я пришел за своим рубином.

Пардус стащил шнурок с теплой шеи и стиснул камень в кулаке.

— Ты убил их? Убил людей-леопардов?

— Увы, это так. И я убью каждого, кто окажется на моем пути. А теперь позволь мне...

Свободная рука опустилась между бедер Элиммы.

Чуть позже она спросила, поглаживая его по животу, дивясь размерам того, что сводная сестра называла рогом бога-проказника:

— Хочешь остаться? Править вместе со мной?

— И быть однажды убитым ударом в спину? — Он засмеялся, вставая. За окнами брезжил рассвет.

— Прощай, мбоке Пардус, забывший имя отца.

— Прощай, змея.

Он покинул поселок и устремился на север, в обход скал. Рубин сверкал, указывая дорогу. Внутри спал зверь, насытившийся леопард.

А на лесной поляне что-то черное и огромное склонилось к трупам богенге, обнюхало их, и взвыло, и бросилось сквозь чащу за убийцей своих сыновей.

Бог Зивер шел по пятам Пардуса.



ПАША (2)

Паша забрался на диван и изучал книжные полки. Трансформеры, штурмовики и пластиковый Грут охраняли библиотеку. Нужный том маскировала грамота: школа вручила ее за участие в олимпиаде по химии. Самотин тогда занял почетное третье место. Выходит, естественнонаучные дисциплины принесли ему больше, чем литература.

Паша сдул пыль с книги. На обложке скалил зубы Веселый Роджер, скрещивались бордажные сабли. «Золотой век пиратства». Про пиратов он давно мечтал написать...

Сочинять истории он начал в третьем классе. Устные новеллы, фантастические боевики, в которых храбрые агенты межгалактической полиции сжигали бластерами злобных сатурнианских роботов. Он рассказывал их папе. Папа хвалил, но сейчас Паша понимал, что битвы с армией диктатора Горгона проходили мимо папиных ушей.

В седьмом классе, под впечатлением от «Ведьмака», он напечатал на компьютере первый рассказ. Персонажи перекочевали из космоса в мир меча и магии.

Он мечтал прославиться как автор фэнтези. Как Сапковский. Взрослые быстро развеяли иллюзии.

— Это не приносит денег,— сказал папа.— Фантастов — пруд пруди. Чтобы опубликоваться, нужен блат.

Мама советовала заниматься учебной, а «свои сказки» писать на каникулах.

Ахметова, учительница литературы, усмехнулась, прознав про амбиции Самотина.

— Ты парень неглупый, но, при всем уважении к твоей маме, не вундеркинд. Давай тебе исполнится восемнадцать, и тогда уж решишь, кем хочешь стать.

Пробы пера, конечно, были детской ерундой. Но этим летом Самотин сочинил пару историй... ему казалось, годных. В Сапковские он, поумневший, больше не метил, но и бросать творчество не желал.

Спальню огласила мелодия из «Звездных войн».

Паша подхватил телефон.

— Чего тебе?

— Бог Зивер шел по пятам Пардуса? *Шел по пятам Пардуса?*

Руд гневно кричал в ухо.

— И что?

— Где финал, Самотин?

— Это и есть финал.

— Это преступление против читателя! Против меня лично! Я-то ждал, что Пардус найдет настоящего отца, отомстит за мать, а ты, мало того что не развил сюжет, так еще оборвал на самом интересном!

— Не понравилось? — Паша учился воспринимать критику без обид.

— Да естественно, понравилось! Желтый жир! Кровь! Голая Элима! А на фига ты приделал ей волосатый лобок? Пусть будет эпиляция. Так круче.

— Сомневаюсь, что в те времена женщины делали эпиляцию.

— А на что похож этот Зивер?

— Понятия не имею.

— Может, на носорога с десятью рогами?

— Может,— улыбнулся Паша.

— Я нарисую комикс про Пардуса.

— Ты же не умеешь рисовать.

— Ну, найму художника.

— За какие шиши?

— Самотин! Хорош нить! Ты — гений! Через тройку годков я буду продавать на аукционе твои каракули. И напишу книгу «Как я с известным писателем срал за супермаркетом». А что такое,— Руд зашелестел бумагой,— «э-ув-форбия»?

— Какое-то растение. Я взял слово из книжки про Африку.

— Кайф. Переедешь в Москву... я буду навещать в гости.

— Руд,— охладил Паша пыл друга,— сколько в Горшине было знаменитых жильцов?

— Хэ-ээ. Восемь?

— Ноль.

— Реально?

— Загугли.

— Гуглю... — На другом конце города застучали клавиши.— Так-так-так. Ноль, говоришь? А писатель Алексей Толстой? Между прочим, автор «Золотого ключика».

— Гонишь.

— Лови пруфы. В сороковом году А. Н. Толстой проездом побывал в Горшине.

— Ну да, считай земляк.

— И Ленин Владимир Ильич!

— Родился в Горшине?

— Горячо! Зимой двадцать первого охотился в окрестных лесах. До села добрался на санной подводе.

— Это все великие горшинцы?

— Пока все.

Паша, с мобильным у виска, подошел к окну. Приподнял занавеску. За штакетником мелькнула тень.

— Мне надо бежать.

— Пиши продолжение! Были случаи, чтобы триквел оказался лучше оригинала?

— «Пятница, 13-е».

— Если что, я буду твоим агентом. Бывай.

— Бывай.— Паша чиркнул по дисплею и опрометью бросился в коридор. На заднем дворе он сбавил шаг. Пригнулся, юркнул в тень ореха. Сел и прижался лицом к забору.

Сквозь штакетины он видел территорию вахтерши. Видел негритяночку, развешивающую мокрые простыни.

Племянница бабы Тамары была в белой футболке и шлепанцах. Привстала на цыпочки, чтобы достать до перекладки,— мышцы напряглись. Бедра крепкие, смуглые.

Все лето Паша бесстыдно фантазировал на тему соседки. Запершись в ванной, представлял, как знакомится с ней, и она говорит томно: «Умираю от скуки в этой дыре. Не хочешь заняться чем-нибудь типа секса?»

В реальности негритяночка лишь сдержанно кивала в ответ на его приветствия. Мама сказала, ее отчислили из института за прогулы. Значит, ей как минимум восемнадцать. Шансы равны нулю.

Девушка наклонилась к корзине. Подол задрался, на миг оголив серебристые плавки, круглые ягодички и куточек незагорелой плоти.

Паша мысленно застонал.

Был бы он Пардусом, принцем из Тельхина! С развитой мускулатурой, покатыми плечами, в шрамах по всему телу. Такому, самоуверенному, немногословному, негритяночка не отказала бы. Потом, утомленная после ночи любви, еще бы и предложила:



HORRORZONE

— Оставайся и правь со мной.

А Паша расхохотался бы и ушел в рассвет, сражаться с чудовищами и старыми богами.

Но он не был Пардусом, а Горшин не был страной Зубчатых гор.

Развесив белье, негрityяночка пошлепала в дом.

Паша вернулся к своим пиратам, думая о необитаемых островах и темнокожих красотках.



МАРИНА (2)

Горшин не разочаровал Марину лишь потому, что она заранее не очаровывалась. Хмельные гусары орали благим матом у шашлычной. Подворотни пованивали мочой. Окно общежития выходило на стройку, где за фанерной оградой бухтел экскаватор и вяло копошился подъемный кран с горделивой надписью на стреле «Ивановец».

«Могло быть хуже», — сказала себе Марина.

По крайней мере, здесь было зелено, и до грибного леса — рукой подать. Как давно она собирала с бабушки маслом и лисички? Очень давно.

Гордое звание «город» провинция носила лет эдак пятнадцать. Ярлык «сонный городишко» клеился к Горшину легко, как вырвиглаз-вывески клеились к автовокзалу. Они вопили приезжим: «Трикотаж!» «Люстры!» «Золото!» — и как бы предупреждали, что делать тут нечего, лучше катите себе дальше в Москву.

Семнадцать тысяч населения — больше, чем в Судоге!

Серая коробка общежития примостилась в середине, около вокзала, заправки и мастерских. Федеральная трасса делила Горшин пополам. На севере — микрорайон Стегляшка, на юге — хрущевки и частный сектор, окрестные села, сосновый бор.

Во вторник Марина решила изучить город. Надела шорты и футболку, смоляные волосы завязала резинкой. Вечер был теплый, совсем июльский, но паутина, парящая в воздухе, предсказывала скорую осень.

Переселиться помог дед. Арендовал у товарища грузовик, притаранил из Судогды внучкины книги, одежду, косметику.

— Для учительницы внешность — превыше всего! — говорил.

Бабушка встревала:

— Маринка и без грима хороша!

— Хороша-хороша, но про помаду нельзя забывать.

Возле рынка причитала попрошайка, лаяли дворняги, ссорясь за беляш. Марина делала мысленные пометки: супермаркет «Центральный» (а в нем «Бургер-Кинг!»), салон красоты «Гламур», «Сотофон», магазин «Рыболов» — чем черт не шутит. Она-то, конечно, тоже выросла в дыре, но пять лет студенческой жизни развратили, избаловали...

Тянуло то к маме, то к владимирским друзьям в клуб, то вообще в объятия к...

«К тому, чьего имени нельзя произносить», — погасила она порыв.

Асфальтную жилу трассы окаймлял уродливый бетонный забор, пьяно кренящийся секциями, измаранный граффити. К Стекляшке вел пешеходный мост.

Вместо обшарпанных хрущевок тут тонули в яблонях симпатичные высотки кофейного цвета. Нарядные дворы, детские площадки, пиццерия и даже кинотеатр. А вон, за елками и березовой рощицей, школа № 2. Поменьше старшей коллеги, но и повеселее.

Марина полагала, что для полноценной реализации талантов не обязательно оседать в мегаполисе. А друзья чуть ли не поминки устроили, узнав про Горшин.

«Про Горшин... как „прогоркло“, — отметила она. Марина нахваталась разного от родни: у бабушки позаимствовала упертый характер, боевой нрав, у мамы — прилежность в учебе, усидчивость. Но не стала, как мама, книжницей-отшельницей. Отличные оценки совмещала с бесшабашными (и безбашенными) вечеринками. Благо дед одолжил важное умение хорошо отдохнуть, поработав. От отца, давно эмигрировавшего, она унаследовала только фамилию, отчество и цвет волос.

И так чересчур много.

Горшин заканчивался нефункционирующей военной академией и функционирующей воинской частью — здесь, сказала Кузнецова, располагалась гвардейская бригада специального назначения.

Уютной Стекляшке учительница поставила пятерку.

По тенистой аллеюке вернулась к мосту, перешла дорожку. Южная половина города состояла из серых и белых пятиэтажных зданий, бледно-голубых — трехэтажных. Центральный проспект — Советский — подпирали гривастые клены. Первые этажи домов традиционно отводились под магазины: мебельный, цветочный, обувной, продуктовый. Росгосстрах и Сбербанк, «Дикси» в современной шкатулке.

Возле аптеки рухнула черемуха, выдрав из почвы осьминога корневища. Ствол оседлали подростки. При виде Марины они захихикали, засвистели.

— Эй, заблудилась?

«А вдруг — мои ученики?»

Не одарив их вниманием, Марина с достоинством продефилировала мимо.

От мемориала героям войны тропинка петляла на холм, к школе. Марина взяла левее, смело штурмуя терра инкогнита.

Днем она присутствовала на своем дебютном педсовете. Обсуждался учебный план, аттестация. В учительской — пятнадцать педагогов. На дюжину женщин — двое мужчин. Приятно, что есть и молодые барышни (информатика, биология тире экология, музыка). Коллектив вроде дружный, приветливый. Марина незаметно чиркала в телефон: «Лар. Сер. Самотина — математика. Ант. Пав. Прокопьев — ИЗО. Алек. Мих. Аполлонова — англ. яз.».

Позабавила пожилая учительница физики (ее имя Марина не запомнила). Старушка весила добрый центнер, на совет пришла с Библией под мышкой, и в основном клевала носом, пробуждаясь иногда от громких шуточных комментариев Прокопьева или Кузнецовой.

Завуч, кругленькая и сдобная женщина по фамилии Каракуц, познакомила коллектив с новенькой. Марине долго аплодировали, растрогав, велели быть гордостью школы.

Еlegantный Костров поручил Крамер шефство над седьмым классом, осиротевшим после ухода Ахметовой.

— Что ж вы, ироды,— сказал худощавый, борода клинышком, Прокопьев, вылитый художник,— человек к вам пришел, а вы его сразу — в пасть Тухватуллину?

Тухватулина уже упоминала Ольга Викторовна. Притча во языцех. Любопытно...

— Зубы сломает ваш Тухватуллин,— подбодрила Кузнецова, а Костров сказал в кулуарах:

— В седьмом моя дочка учится. Так что я вам самое дорогое доверил.

Над частным сектором курсировали облака. Грязно-рыжий трубопровод обгадили голуби. За штакетником звенели цепями псы, орали телевизоры, и, как ни старалась, Марина не смогла представить Горшин

ПОРЧА

времен своей прабабки. С бричками, подводами, винокурней...

Не преподнеся сюрпризов, город закончился промышленными зданиями. Синяя громада — рыбокомбинат. Рядом мебельная фабрика и закрывшийся велосипедный завод.

Речку, расхваленную Кузнецовой, Марина прозвала. Ничего, найдет в следующий раз.

Городки вроде Горшина имели преимущество. Здесь проще начинать с нуля. Не только работать. Строить отношения тоже. Останься она во Владимире, уже трижды простила бы того, чье имя нельзя называть. Он вчера написал ей на электронку письмо — в соцсетях он был забанен навечно. Скучаю, помню, сожалею...

— Все пройдет, как с белых яблонь дым,— процитировала Марина.

По дороге в общагу заскочила на рынок и купила свежего леща. К вину, отметить классное руководство.



ТАМАРА (1)

В ночь на двадцать восьмое августа у шестидесятилетней Тамары Яшиной из груди пошло молоко. Спросонку она испугалась, что кровь. Мало ли, рак. Ее мать умерла от рака.

Она стянула сорочку и обнаружила белесую влагу, струящуюся по ребрам. На цыпочках, чтобы не разбудить племянницу, выскочила в ванную, над раковиной помассировала грудь. Привычная дряблость сменилась забытой полнотой, приятной тяжестью. Ареолы покрыли капли молозива. Сердце норвило выпрыгнуть через горло. Тамара надавила сильнее, и жирное, как сливки, молочко потекло вниз, образуя на животе четкий рисунок.

Лицо со впадиной пупка вместо рта.

Она, конечно, ошиблась, обзвав Лицо «нечестивым». Начиталась макулатуры, наслушалась попов. Вот и ляпнула, что взбрело в пустую башку, а Игнатич рассвистелся. Да и страшным оно казалось поначалу. Если от Господа, то почему под землей, почему из канализационной воды, а не из родниковой?

Потому, старая ты кошелка, что пути Господни неисповедимы. Из сора, из плевел явится святость, как чистейшее молоко из старушечьего вымени.

Белое, радостное, прилиvalo, будоража эмоции, давно высеянные из памяти.

Снова спустившись к Лицу — она не знала зачем — Тамара увидела совсем иное.

Мудрость. Доброту. Всепрощение.

Хотелось свернуться клубочком, и спать на холодном полу, и смаковать яркие сны.

Но нужна ли какая-то там вахтерша Богу? Не противно ли ему ее присутствие?

Оказалось, не противно.

Копия Лица двигалась по ее морщинистому животу — потоки молока имитировали движение. Лицо нашло в зеркале ее горящие глаза и позвало.

Тамара наспех оделась. Племянница, допоздна игравшая в телефоне, крепко спала. Напихав под лифчик салфеток, Тамара бежала ночными улицами, и луна напоминала сочащийся молоком сосок.

Млечные соки омывали холм и школу. Трава из зеленой превратилась в белую, окна мерцали, как серебряные пластины.

Тамара вынула из кармана огромную связку ключей.

Грудь была теплой, словно пара угревшихся за пазухой кошек.

Учителя и школьники, когда замечали вахтершу, называли просто: баба Тамара. Реже — тетя Тамара. По имени-отчеству обращался только Костров, и ее душа таяла. Даже когда отчитывал. Племянница Лиля говорила: «Теть-Том», почти «Тетом», одним выдохом.

Но был на свете человек, который давно-давно звал ее Звездочкой. Так нежно, что можно умереть от счастья.

В Горшине никто бы не догадался: невзрачная баба Тамара когда-то сводила мужчин с ума. По крайней мере одного, самого красивого. Она тоже была красивой: худенькой, дерзкой. Звездочка с острыми лучами.

Она жила в деревне под Самарой. Гришу ее родители на дух не переносили. Выпивоха, бабник, картежник. Что они смыслили! В Гришиных объятиях Тамара плавилась восковым столбиком. В его глазах была королевой. Солома жалила голую спину — она не чувствовала ничего, кроме мужских рук, губ, мужского естества.

Грише доверяла беззаветно. Сразу согласилась поехать с ним в город, пойти к магазину ночью. Плевое дельце — она смотрит, чтоб дружинники не нагрязнули, Гриша вскрывает кассу. Пока деньги отлеживались под ее матрасом, как Гриша учил, экспроприировали самогонщицу.

Гриша привез аметистовые бусы. Давал ей вино изо рта в рот. Она мечтала о детях.

Караулила во дворе дачи — даже не знала чьей. Достаточно Гришиных слов: «Зажиточные, в Пицунде сейчас отдыхают».

Звездочка улыбалась, накручивала на палец локон. В доме вскрикнули коротко — женский голос. Потом заплакал ребенок. Потом все утихло, и Гриша вышел на крыльцо, пьяно пошатываясь, утирая пот. С зажатого в кулаке сапожного шила капала кровь.

— Худо,— промолвил он,— ой, худо, Звездочка.

В газетах написали, он зарезал двоих. Хозяйку и трехлетнего мальчонку. Его арестовали по горячим следам. Про сообщницу не прознали. Гришу поставили к стенке.

Тамаре снился расстрел. Снились захлебывающиеся кровью жертвы.

Она покинула село и проделала долгий путь, чтобы забыть случившееся.

За страшный грех Бог наложил печати на ее чрево, и племянница — точнее, внучатая племянница — была единственной отрадой пожилой женщины.

А сегодня Бог сказал ей: «Прощена».

Пустил молоко.

Лунное сияние проникало в окна, лакировало школьный паркет. Кишка предбанника... засов... двенадцать ступенек и выключатель.

В подвале пахло, как в церкви.

Бог смотрел со стены.

Как же она могла, как? Огульно... на святое...

— Я пришла, Отче.

Тамара читала где-то: образ Девы Марии проявился на скале в Мексике. Паломники молились чуду.

Но фреска под школой не желала огласки... пока.

Лицо улыбалось Тамаре, и в нем угадывались черты Гриши. Хотя оно не было Гришиным.

Просто Бог — это любовь.

Тамара стащила кофту и лифчик. Грудь увеличилась на два размера — до той полноты, которую баюкал Гриша в ласковых ладонях. Отечная, блестящая, в переплетении голубых вен. Тамара ощупала себя и обнаружила комки под кожей. Подушечками пальцев протряхнула уплотнения.

Грудь болела. Фонтанировала молоком.

— Покорми меня, Звездочка,— прошелестел голос где-то за переносицей.

Меж нарисованных губ Лица зияла впадина, дефект, дырочка в бетоне. Была ли она вчера? Не важно.

Омываемая любовью высшего существа, Тамара подошла вплотную к стене и аккуратно всунула сосок в отверстие. Глаза ее при этом смотрели в глаза Бога.

Душа воспарила. Лицо принялось сосать.



МАРИНА (3)

Расправившись со шторами, Марина долго глотала минералку из бутылки. Теплый ветер дул в распахнутые окна, шевелил тюль. Колени подгибались от усталости, но настроение было превосходным. Подвиг Геракла зачтен. Конюшни расчищены.

Кабинет — ее личный кабинет! — благоухал полиролем и освежителем. Запах ремонта практически выветрился. Завхоз приволокла три банки голубой краски. Остальное Марина купила за свои кровные. Сама орудовала валиком и кистью, сама покрывала лаком мебель. Идущие мимо школы дети могли видеть взгромоздившуюся на подоконник девушку, в процессе работы подпевающую Робби Уильямсу.

За седьмым классом числилось двадцать шесть стульев, тринадцать парт, учительский стол, доска и допотопный, частично отреставрированный по урокам из ютуба, шкаф. Макулатуру, набивавшуюся ящики, помогли выносить пригнанные Костровым одиннадцатиклассники. Книги по марксизму-ленинизму, собрание сочинений Иосифа Сталина в тринадцати томах, пятнистые слипшиеся методички (ничего не выбрасывать! — хлопотала завхоз).

Из бывшего кабинета Ахметовой переселились классики. Шолохов, Толстой, Маяковский. Их портреты заняли место над дверью.

Мелом Марина написала на доске: «Крамер — ты лучшая!» Пририсовала сердечко. Снаружи раздались шаги — Марина быстро вытерла тряпкой самовосхваление.

В кабинет вошла блондинка лет тридцати пяти. Раньше они не встречались.

— Тук-тук-тук. Здесь снимают передачу «Квартирный вопрос»?

— Уже сняли. Бюджетный выпуск.

Марина отряхнула ладони и пожала протянутую руку.

Блондинка присвистнула, оглядываясь:

— Да ты — волшебница.

— Только учусь, — польщенно ответила Марина.

— Я, как узнала, куда тебя квартировали, Кострова чуть не прибила.

— Он тут ни при чем.

— Уж поверь мне, он везде при чем. Я тринадцать лет с ним живу.

— О, так вы...

— Прошу, не надо «выкаты». Кострова. Просто Люба.

— Марина.

У директора был отменный вкус на женщин. Библиотекарь обладала восхитительными зелеными глазами и гладкой кожей — Марина, оббегавшая десяток дерматологов, позавидовала.

— Как тебе у нас?

— Хорошо. Тихо, спокойно.

— Это поправимо. Детей меньше, чем в городских школах, сто семьдесят штук, но зато таких штук, что мало не будет. — Люба потрогала ткань штор. — Красивые. За свой счет брала?

— Да они дешевые.

— Малых потряси, пусть возмещают. Не затоскуешь в Горшине-то?

— Я из Судогды.

Библиотекарь изумилась:

— Это где?

— Владимирская область.

— Ясно. Привыкшая, значит, к тмутараканям. Кто у тебя на родине остался?

— Мама, бабушка с бабушкой.

— Жениха нет?

— Не-а.

Марина отмахнулась от образа того, чье имя нельзя называть.

— Плохо. У нас дефицит женихов. Или пьяницы, или лентяи. Был один, но я его... — Люба показала безымянный палец с кольцом.

«Неужели,— подумала Марина,— предупреждает, мол, мое, не трогай?»

Так она и не претендовала.

— Я теперь классный руководитель у вашей дочери.

— У чьей дочери? — шутливо насупилась Люба.

— У *твоей* то есть.

— Так-то. Да, у Насти. Она про тебя спрашивает папу. Ты ей понравишься. Ты — модная.

— Модная,— приснула Марина, облаченная — ремонт же! — в рваные джинсы и вылинявшую рубаху.

— Марина... как отчество?

— Фаликовна.

— Ой-е.— Люба прикрыла глаза пятерней.

— Что такое?

— Кто ж с экзотическими отчествами в педагоги идет?

— Намучаюсь? — улыбнулась Люба.

— Этим зубастикам только дай за что-нибудь уцепиться. Первое, что услышишь: «Как-как? Шариковна?»

Так и прилипнет. Не реши, что каркаю...

Марине, свыкшейся с крестом отчества, было не обидно, а смешно.

— Ну я еще и Крамер. Может, они фамилию предпочитают исковеркать.

— А что,— прищурилась Люба,— может быть.

— Костровым легко рассуждать на такие темы. К Костровым не придерешься.

— А к Окуньковым?

— Это кто?

— Это я. Девичья фамилия. С ней я в библиотеку пришла и до сих пор хожу Окунем. Раньше думала, вот выпустится класс, новенькие про Окуня не узнают. Ага. Мне кажется, им в школе сразу говорят: «Эй, парень! Кострова-то — Окунь».

Марина смеялась, слушая слезливую тираду.

— А у других клички есть?

— Записывай. Костров — Борода. Кузнецова — понятно — Кузя. Каракуц — Каракурт. Англичанка, Александра Михайловна Аполлонова — уж до чего красиво и звучно, в честь покровителя искусств. А ее Половником дразнят.

— И ничего нельзя поделать?

— Пиши жалобы в районо.

Они болтали полчаса, оглашая смехом пустой этаж. Покосившись на часы, Люба встрепенулась:

— Я совсем забыла, зачем к тебе пришла. Идем!

— Куда?

— Как куда? Получать учебники и пособия.



КОСТРОВ (3)

Спросонья никак не удавалось сообразить, что поменялось в комнате. Костров моргал и перетаптывался на месте. Мочевой пузырь, поднявший из постели посреди ночи, продолжал сигналить.

Директор помассировал веки.

Глаза привыкали к полумраку. Торчащий за окном фонарь нанес на предметы золотистое напыление.

Что-то не так.

Костров пошарил рукой по щекам, окончательно просыпаясь.

Осознание шибануло в солнечное сплетение — словно многотонный шар на стреле самоходного кра-на ударил по демонтируемому зданию. Вечером они с Настей видели такую штуковину в выпуске «Ну, погоди!».

Мебель увеличилась в размерах. Спинка стула теперь доходила до его макушки, а столешница упиралась в подбородок. Постель, только что покинутая, взмыла на уровень двухэтажной кровати. Кровать с двумя ярусами была у Насти — Люба возмущалась, зачем она дочери, но Настя любила спать то внизу, то вверху, под настроение, а Костров продолжал мечтать о втором ребенке.

В боку закололо.

Глаз фонаря тарачился через стекло.

Костров попятился — что-то двинулось над головой. Гладильная доска. Он прошел под ней, как под аркой. В мгновение мебель вымахала еще сильнее. Край простыни, свисающий с кровати, напоминал белое знамя. Чтобы вскарабкаться на стул, потребовалась бы дополнительная табуретка. Столешница парила, подпираемая толстенными колоннами ножек.

Абсурд происходящего не поддавался анализу. Липкий пот выступил на спине.

Выросла не только мебель. Комната, на чью тесноту постоянно жаловались Костровы, приобрела масштабы бального зала в каком-нибудь дворце. Потолок едва угадывался. В вышине мерцала искусственным хрусталем люстра. Окна с рамами расширились и удлинились — сам Тиль вышел бы через форточку, не пригибаясь... если бы сумел забраться на Джомолунгму подоконника.

Босые пятки тонули в ворсе ковра.

«Где я?»

Ответом был скрип огромных пружин. Там, в поднебесье, великанша устраивалась поудобнее на своем великанском ложе.

Люба...

Пяти- или шестиметровая...

Вот сейчас из-за края кровати выползет луна ее головы и гигантский рот спросит, почему муж не спит.

Но пружины утихомирились.

А комната подросла.

Или... или это он уменьшился... как в старой американской комедии...

Оглянувшись, Костров увидел, что пространство под кроватью — щель между полом и бордовой драпировкой днища — увеличилось до размеров подземного гаража. Серые холмы спрессованной пыли вырисовы-

вались в темноте. Тускло поблескивала чайная ложка — килограммы латуни — вероятно, Настя когда-то уронила ее под кровать.

При мысли о дочери дыхание перехватило.

Мозг предоставил сюрреалистическую картинку: Настя поднимает отца в воздух и целует в живот гигантскими губами.

Стены ходили ходуном.

Округлое, коричневое, величиной с автомобиль, наехало сбоку.

Таракан!

Присмотревшись, Костров понял, что это тапка, и она не представляет угрозы.

В отличие от шебуршащего на кухне кота. Хруст. Матрос ел сухой корм, перемальвывал зубами катышки со вкусом кролика.

Костров закружился юлой, и комната закружилась: кресла, стулья, шкаф...

Мир резко зафиксировался.

Шкаф отвесной скалой вздымался в небо. Обелиск. Небоскреб.

Плита двери медленно отодвигалась. Барханы пыли шевелились, разлезаясь на клочья. Великанша засопела под километром одеяла.

Шкаф распахнулся. Сшить такую одежду могли разве что бездельники, стремящиеся попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Вешалки позвякивали: сталь громыхала.

В гардеробе очертилось Лицо.

Нечестивый Лик выплыл навстречу, и задравший голову Костров закричал. Горячий поток хлынул по ляжкам.

Лик отворил пасть.

— Уммм... — Костров смял наволочку в кулаке. Приоткрыл веки. Слюна стекала из уголка рта на подушку. Он утер губы, сел, щурясь от яркого солнца.

ПОРЧА

Комната вернулась к изначальным размерам. Компактная, тесная, родная.

На кухне Люба переговаривалась с дочерью. Ему позволили поспать подольше. Насладиться кошмаром, необычайно ярким и плотным.

«Хорошо хоть не уписался»,— подумал Костров, ощупывая пах.

Расслабляясь постепенно, потянулся, захрустев позвоночником. Тапочки были как раз впору. Шкаф предложил выглаженную рубашку.

Перед тем как присоединиться к семье, Костров взял вешалку, встал на четвереньки и поволил ею под кроватью.

Крючок вытащил наружу комочки пыли и чайную ложку.



КУРЛЫК

Ваню Курловича дразнили Курлыком. Он настолько привык, что не только откликался на прозвище, но и к самому себе — мысленно — обращался именно так.

«Жопа, Курлык. Спасайся, Курлык».

Он перешел в девятый класс, но выглядел на пару лет младше. Невысокий, субтильный, с неразвитой мускулатурой. Ниже любой девчонки-ровесницы. Рост вкупе с легким косоглазием делали его объектом насмешек. Словно он таскал на спине деревянную табличку: «Пни меня», и ровесники исполняли просьбу.

Математичка, Лариса Сергеевна, как-то сказала завучу: «Бедный мальчик такой слабый и рохлый из-за ма-маши, дряни эдакой. Бухала во время беременности, прикинь?»

Лариса Сергеевна не знала, что он прячется под партой и все слышит.

Взрослые жалели Курлыка, но он им не доверял. Помнил тетю Риту, парикмахершу. Она тоже вздыхала сердобольно, угощала печеньем. А когда из куртки дочери пропали деньги, кричала громче остальных: «Это точно дело рук Курловича! Весь в мать, алкоголичку! Его надо на учет ставить в детскую комнату!»

Что за детская комната, Курлык не понял. За свою жизнь он крал лишь дважды: сникерс в «Дикси» — очень хотелось кушать — и крутую пожарную машину

у Нестора Руденко. Правда, машину он вернул: совесть грызла.

Если бы Курлык отметил на карте места, где его задирали или били, Горшин целиком исчез бы под крестиками.

У церкви на Пасху — расквасили бровь, бросили в лужу куличи.

На Колхозной — выбили зуб.

У кинотеатра — снова зуб, сняли штаны.

На Почтовой — отобрали мелочь, зажигалку «Зиппо».

Опасаясь за дедушкины нервы, он говорил, что упал.

— Ага, упал! — Дед проспиртованной ватой тер его грязные щеки.— Прямо в зеленку.

— Мы играли...

Дедушка грозил кулаком куда-то в окно. Клялся отыскать хулиганов. Но дедушку самого задирали дети. «Пьяница, пьяница, за бутылкой тянется!» Подбросили собачье дерьмо в саквояж. Сфотографировали спящим в подсобке и фотку повесили на доске почета.

Курлык любил деда. Тот, хоть и пил, не становился агрессивным, как мама. Наоборот, от водки делался ласковым, готовил вкусности, болтал с внуком о пустяках. Трезвый же был угрюмым и ворчливым.

Но лучше уж с угрюмым дедом жить, чем с мамой, которая или дрыхнет, или кричит и бьет бутылки.

Так он считал до вчерашнего вечера...

Курлык шмыгнул носом. Таясь в кустах, он наблюдал за двумя мальчиками, сидящими на лавке возле стелы. Тень каменной таблички защищала их от полуденного солнца. Табличка сообщала, что здесь в тысяча восемьсот двенадцатом проходил, отступая после Бородинского сражения, арьергард русской армии во главе с генералом Милорадовичем.

Табличка умалчивала о том, что здесь же, чуть позже, Ваня Курлович улепетывал от Рязана.

Бровь, куличи, «Зиппо» — подарок отца из Москвы — это все Рязан.

Курлык не считал себя умным парнем, но смекал: Рязан при своем весе и росте мог найти противника посolidнее. «Бить Курлыка — как девочку бить», — думал Курлык.

Рязан теперь учился в соседнем городе, но обитал-то по-прежнему через улицу.

Жизнь учила не обольщаться.

Обрадовался Ваня, что в школе не встретит Рязана — тут же встретил на остановке. Отделался легкой оплеухой. Может, Рязан вырослел...

Мальчики на скамейке затеяли жаркий спор.

Высокий, светловолосый — Паша Самотин, сын Ларисы Сергеевны. Вихрастый и смуглый — Нестор Руденко. Руд ездил на море летом, а Курлык море видел разве что в кино.

Мальчики были его друзьями. Не важно, осознавали ли они это, хотели ли.

Они ни разу не унизили Курлыка. Не били. И, главное, они не жалели его в открытую, как какого-то калеку. Подтрунивали, но так, что обидно не было, ведь они и друг над другом подтрунивали.

Позапрошлой зимой Паша пригласил Курлыка в гости — с ночевкой, — и это была замечательная ночь! Они играли в стрелялки, листали комиксы, пили колу, бесились. Паша с Рудом — старше его на год! — отнесли к нему как к равному.

В определенный момент Курлык ускользнул на кухню — принять лекарства. От газировки и шоколадок скрутило живот. Желудок был проблемой Курлыка. Одной из десятков проблем.

Он отвинтил крышку пластмассовой баночки, рассчитал дозу, высыпал белые кристаллы в стакан. Залил теплой водой, перемешал и выпил залпом раствор. Горечь не пугала. Горечь — вкус четырнадцати лет его существования.

— Это героин? — спросили из коридора.

Курлык вздрогнул.

Парни подглядывали. Возможно, опасались, что он сворует что-нибудь.

— Какой героин? — хмыкнул Руд. — Героин не пьют, его по вене пускают.

— Ну кокаин, — сказал Паша.

— Кокаин нюхают.

— Не, я кино смотрел. Мафиози кокс в десны втирали.

Курлык прервал дискуссию, откашлявшись.

— Это не наркотики, пацаны. Это соль специальная.

— Для чего?

— Я... ну... — Курлык покраснел.

— Чего яйца мнешь? — подбодрил Руд.

— От запоров.

Он ждал взрыв безудержного хохота. Чего он не ждал, так это слов Паши:

— Дашь попробовать?

И пацаны пробовали раствор, плюясь и ругаясь.

Даже сейчас, после случившегося вечером, Курлык улыбнулся.

Им можно рассказать. Не маме, не учителям, а им.

— Привет, мужики.

— О, Добби! — Руд свел к переносице зрачки. Паша пихнул его локтем.

— Кончай. Здорово, мужик.

Хлопки ладоней действовали как успокоительное.

— Ты чего зеленый такой? Соль закончилась?

— Да нет.— Он нащупал в кармане баночку. Уходя из дома ночью, взял спальник и средство от запоров.

— Вот пусть он скажет! — щелкнул пальцами Паша.— Он — эксперт по части телочек. Ева Грин или Кейт Бекинсейл? Кому бы ты вдул?

— Я... я их не знаю.

— Вот блин.

— Мужик,— посерьезнел Паша,— реально, ты в порядке?

— Нет,— покачал головой Курлык. В горле защипало.

— Эй.— Руд подвинулся, освобождая место для третьего.— Рассказывай.

Курлык посмотрел на друзей.

И рассказал.

— Давай-давай, поднажми!

Курлык засопел. Если дед оборачивался в узком коридоре, он кое-как выпрямлялся и стирал с физиономии мученическую мину. Но без надзора раскорячивался и высовывал наружу язык. Мешки весили тонну.

— Что здесь, деда?

— Книги из кабинета новенькой училки. Я Нинке грю: выбросить их к чертям. Кто их читать станет? Крысы? А она: нет, казенное имущество! Сволоки вниз!

Нинка — это завхоз школьный.

Под тяжестью ноши Курлыка занесло на повороте.

— А тут крысы есть? — спросил он с деланным безразличием.

— Был залетный пацюк. Я вживую не видел, токмо помет. Говно — по-нашенски. Зимой травил...

Дед отворил желтую дверь и спустился по лестнице. Через полминуты зажегся свет.

Курлыку не шибко нравился подвал трудовика, где как-то на уроке Рязан и Желудь сунули его пальцы в